

Варлам Шаламов

Четвертая Вологда



*Часть сборника
Преодоление зла (сборник)*



Варлам Тихонович Шаламов

Четвертая Вологда

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=629785
Преодоление зла: Эксмо; М.: 2011
ISBN 978-5-699-47702-9

Аннотация

Русского поэта и писателя, узника сталинских лагерей Варлама Тихоновича Шаламова критики называют «Достоевским XX века». Его литература – страшное свидетельство советской истории. Исповедальная проза Шаламова трагедийна по своей природе, поэзия проникнута библейскими мотивами.

Содержание

I	4
II	6
III	13
IV	14
V	16
VI	18
VII	20
VIII	21
IX	26
X	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Варлам Тихонович Шаламов

Четвертая Вологда

I

Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда – четвертая.

«Четвертую Вологду» я пишу в шестьдесят четыре года от роду... Я пытаюсь в этой книге соединить три времени: прошлое, настоящее и будущее – во имя четвертого времени – искусства. Чего в ней больше? Прошлого? Настоящего? Будущего? Кто ответит на это?

Прозаиком я себя считаю с десяти лет, а поэтом – с сорока. Проза – это мгновенная отдача, мгновенный ответ на внешние события, мгновенное освоение и переработка виденного и выдача какой-то формулы, ежедневная потребность в выдаче какой-то формулы, новой, не известной еще никому. Проза – это формула тела и в то же время – формула души.

Поэзия – это прежде всего судьба, итог длительного духовного сопротивления, итог и в то же время способ сопротивления – тот огонь, который высекается при встрече с самыми крепкими, самыми глубинными породами. Поэзия – это и опыт, личный, личнейший опыт, и найденный путь утверждения этого опыта – непреодолимая потребность высказать, фиксировать что-то важное, быть может, важное только для себя.

Границы поэзии и прозы, особенно в собственной душе, – очень приблизительны. Проза переходит в поэзию и обратно очень часто. Проза даже прикидывается поэзией, а поэзия – прозой.

Я начинал со стихов, с мычания ритмического, шаманского покачивания – но это была лишь ритмизированная шаманская проза, в лучшем случае верлибр «Отче наш».

Тогда мне было непонятно, что поэзия – это особый мир, что начавшаяся с песни поэзия доходит до высот Шекспира и Гете и что никакие арины родионовны не остановят ее развития. Путь этот – необратим.

Для письменной речи песня акына лишь подножье, почва, окультуренный сад.

Я пишу с детства. Стихи? Прозу? Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Проза тоже требует ритмизации и без ритма не существует. Но писание как особенность мгновенной отдачи, для которой я нашел мне принадлежащий, личный способ торможения, фиксации, – а торможение внешнего мира и есть процесс писания, – я отношу к десяти годам, к времени возникновения моей игры в «фантики», моих литературных пасьянсов, которые так тревожили мою семью. Вологда – не просто город Большого Севера, Севера с большой буквы, не просто архитектурная летопись церковной старины. Много столетий этот город – место ссылки или кандалный транзит для многих деятелей сопротивления – от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Германа Лопатина до

Луначарского. Нет в русском освободительном движении сколько-нибудь значительного деятеля, который не побывал бы в Вологде хотя бы на три месяца, не регистрировался бы в полицейском участке. И далее – либо увязал обеими ногами в жирную унавоженную кровью вологодскую почву, либо, обрывая эти корни, бежал. Вот этот классический круговорот русского освободительного движения – Петербург – тюрьма – Вологда – заграница, Петербург – тюрьма – Вологда – и создал за несколько веков особенный климат города, и нравственный, и культурный. Требования к личной жизни, к личному поведению были в Вологде выше, чем в любом другом русском городе.

В Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни. Со сцены: Мамонт Дальский, Павел Орленев, Николай Россов. Антреприза городского театра держала курс

именно на этих проповедников, пророков, носителей добра, а не красоты – передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду, вроде Художественного театра. Художественный театр признавался Вологдой, но только в ряду подальше, чем пьесы Шиллера, Гюго, Островского и Гоголя, принесенные скитающимися звездами – гастролирующими пророками столичной и провинциальной сцены. То обстоятельство, что в «Лесе» Островского Несчастливцев путешествует из Керчи в Вологду – было самым документом. Ибо именно в Вологде такой гастролер мог встретить и понимание, и помощь, и поддержку. Вологда была передовым актерским городом, где жили высшие ценители, высшие критики, высшие русские авторитеты – общество вологодских ссыльных.

Ни Ярославль, ни Архангельск, ни Самара, ни Саратов, ни Сибирь – Восточная и Западная – не имели такого особенного, нравственного акцента.

Это относится не только к театру.

II

Есть три Вологды.

Первая Вологда – это местные жители Сольвычегодска, Яренска, Усть-Сысольска, Великого Устюга, Тотьмы, говорящие на вологодском языке, одном из русских диалектов, где вместо «красивый» говорят «баской», а в слове «корова» не акают по-московски и не окают по-нижегородски, а оба «о» произносят как «у», что и составляет фонетическую особенность чисто вологодского произношения. Не всякий приезжий столичный житель освоится сразу с вологодскими фонетическими неожиданностями. Первая Вологда – это многочисленное крестьянство подгороднее: молочницы, огородники, привлекаемые запахом легкого заработка на городском базаре.

В этих близких и дальних северных деревнях спокон века есть свои грешники, свои праведники, свои карьеристы и злодеи – человеческий тип синантропа немногим отличается от современника, изучающего кибернетику и ритмы Гете. Фашизм, да и не только фашизм, показал полную несостоятельность прогнозов, зыбкость пророчеств, касающихся цивилизации, культуры, религии.

Но до революции именно в эту зыбкость-то и не верили, убаюкивая себя и своих близких скорым пришествием рая – все равно, земного или небесного.

Сюрприз крестьянства был только одним из многих сюрпризов революции.

Революция вошла в село решительной походкой, удовлетворяя прежде всего деревенскую страсть к стяжательству.

Стяжательство вологодских крестьян имело свои особенности. На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет – на жирности молока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой, что крайне удивляло театрального гастролера Бориса Сергеевича Глаголина. Привыкший ко всему петербургский желудок знаменитого русского актера испытывал неуверенность в честной, христоробивой Вологде.

Царское правительство вербовало из вологодских рекрутов самую надежную тюремную стражу, конвойные полки и часовых на тюремные башни.

Подобно тому как профессия дворника закреплена в Москве за татарами, подобно тому как калужане – землекопы, а ярославцы – торгоши, конвойная служба от века и века в руках вологжан. Свое место в царской империи вологжане заняли, охраняя тюремные замки и защелкивая тюремные замки.

Выражение «вологодский конвой шутить не любит» вошло в историю революционного движения, укрепилось в тюремной традиции и после революции дошло до наших дней, вписав надлежащие сведения в охрану концлагерей двадцатых, тридцатых, сороковых годов.

Я был поражен, читая в «Былом» протоколы «дела Нечаева» – подготовку его уникального побега из Шлиссельбурга. Вся охрана Шлиссельбурга – а ее судили за подготовку побега Нечаева – состояла из вологжан[1].

Случай Нечаева заслуживает того, чтобы о нем вспомнить подробно.

Нечаев – и это уникальный, единственный случай в мировом революционном движении, – будучи безымянным вечником шлиссельбургской одиночки, лишенный имени и засунутый на самое дно карцера самого глухого в России, не только сам подготовил свой побег изнутри, но связался с Исполнительным комитетом «Народной воли», переписывался с этим комитетом, давал советы. Когда народовольцы хотели освободить Нечаева, Нечаев отказался от побега ради другого варианта – убийства царя. На царевубийстве были сосредоточены все силы «Народной воли». Нечаеву самому дали решить этот вопрос, и он его решил в пользу центрального удара, что и привело к 1 марта 1881 года. Нечаев понимал, конечно, что такой выбор обрекает его самого на смерть, ибо неминуемо усилят охрану, живым не выпустят.

Действительно, после цареубийства, после усиления бдительности была разоблачена и разгромлена попытка солдат подготовить нечаевский побег, и сам Нечаев умер безымянным через несколько лет естественной тюремной смертью. Заговор был открыт, солдаты осуждены военным судом – протоколы их допросов печатались в «Былом».

Каким же путем Нечаев приобрел такое влияние на своих часовых?

Можно допустить исключительный талант Нечаева Б конспирации, гипнотическую силу знатока человеческих душ и сердец.

И все же – с чего началась деятельность Нечаева в Шлиссельбургском каземате?

Шлиссельбург знал голодовки, протесты, самосожжения, самоповешения на простынях, на белье. Здесь обливали себя керосином и сжигались, умирая от ожогов, срывали погоны с тюремных генералов.

Нечаев поступил иначе. Он ударил кулаком в лицо шефа жандармов генерала Потапова. Ударив, разбил тому нос в кровь. И – не был расстрелян, избит или задушен.

Угрозы расправиться с Потаповым сопровождали этот поступок.

Случай, небывалый случай, подвергся бурному обсуждению в общежитии конвоиров.

Никто не мог дать сколько-нибудь разумного объяснения. Ждали смерти Нечаева – Нечаев продолжал жить.

– Это, наверное, брат или родственник царя, – вот единственное объяснение, которое нашел конвой.

– А если так, действительно так, – говорили конвоиры, – нам нужно держаться осторожно. Завтра он выйдет на волю и нам отомстит. Сотрет нас в порошок.

Нечаев, гений всяческой мистификации, конспирации, не мог не почувствовать, что солдаты его боятся. Он сам стал играть в брата царя. Через полгода солдаты носили его письма на волю. Златопольский, кажется, дал ему адрес Исполкома и явку к «Народной воле». И переписка Нечаева с народовольцами началась.

А когда Александр II был убит, солдатская организация все еще существовала. Нечаев все еще ею командовал. Но после убийства Судейкина в Шлиссельбург пришел Стародворский – главный физический убийца Судейкина. Стародворский во время следствия стал осведомителем и, придя в Шлиссельбург, выдал Нечаева. Нечаеву-то, конечно, ничего не было. Но его охрану судили, дали каторжные приговоры.

Современный историк почему-то умолчал об этом красочном эпизоде публичной пощечины шефу жандармов Потапову. Потапов умолчал об этой пощечине по очень простой причине – донести об этом царю значило самого себя поставить в положение, приводящее к отставке.

Потапов прослужил царю еще много лет, и о пощечине документы были опубликованы лишь в «Былом» – в 1907 году.

Итак, первая Вологда – это деревенское стяжательство и верная служба режиму.

К этой же, первой, Вологде относится и неяркая северная природа, а также знаменитые на весь мир сливочное масло и вологодские кружева.

Вторая Вологда – это Вологда историческая, город церковной старины, в то же время ярчайшая страница русской истории.

Нужно вернуться в доисторическое время, чтобы ощутить глубину дыхания тогдашней Вологды, силу ее могучих мышц, ее инфраструктуру – говоря современным языком, ее санные пути, ее реки, пристани и причалы, крепости, монастыри, военные склады, транзитные могучие транспортные артерии страны.

Россия Ивана Грозного – Север, Ермак. Россия Петра – Балтика. Россия Николая – Россия Юга, Черного моря.

Вологда была и местом героических сражений – война с поляками второго самозванца проходила именно здесь.

Вологда знала и военные предательства, горестные поражения и радостные победы. Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей России вместо Москвы.

Москву Грозный не любил и боялся.

Грозный бывал в Вологде не один раз.

Софийский кафедральный собор, «Холодный собор», как его звали в нашей семье, был построен в честь царя, и Грозный был на освящении храма.

«Холодным» собор назывался потому, что это был единственный храм в Вологде, где не было отопления. Молиться в соборе можно было только летом. Поэтому рядом стоял другой собор – с печами, более теплый, где и молились.

И пасхальные, и рождественские службы проходили в «теплом» соборе, и только летом железные двери Софийского собора раскрывались, а с первым снегом запирались опять.

На Троицу, Духов день службы служили в Холодном соборе.

Высоченные колонны уносили вверх расписное небо, огромные трубы ангелов тревожили мое детское небо, звали к каким-то необычайным земным свершениям.

Трубы ангелов закрывали все небо. На отсеках были фрески, знаменитые фрески Рублевской школы: князья и отцы церкви.

К алтарю ставился обыкновенный земной иконостас, упрятывая и загораживая святых и воителей на фресках и столбах.

Молиться нужно было не фрескам, а иконам, где тысячи свечей горели. И я ребенком нет-нет да и взглядывал вверх – на ногу ангела, из которой выпал камень.

Предание говорило, что во время молебствия на ногу Грозного упал кирпич, выпавший из ноги ангела в росписи церковного потолка. Кирпич раздробил большой палец ноги царя. Грозный, напуганный приметой, изменил решение – Вологда не стала столицей России.

Дело совсем не в том, что в Вологде не нашлось столь смелого хирурга, чтобы ампутировать раздробленный царский палец. Значение таких грозных примет в жизни любого государя, а тем более русского самодержца, не следует преуменьшать. Именно так, как поется в песне, и обстояло дело.

И тут суть не в том, был ли Грозный свободомыслящим или рабом религии своего века. Ни один политик не мог бы пройти мимо такого события. Кирпич, упавший на ногу царя во время молитвы, был ясным советом, и уклониться от него не мог бы ни один царь мира, начиная с Соломона, ни один политик.

Вологду царь оставил не по своему капризу, а затем, чтобы не пренебречь мнением народным. Ни отец, ни Грозный не были людьми суеверными. Просто они отдавали дань паблсити и не хотели искушать судьбу именно в этом земном смысле.

Я много раз бывал в э том храме, ведь мы жили рядом, в доме соборного причта. Я помню черную дыру в потолке. Пустоту – след, оставленный камнем в небе храма. Эта пустота на ноге ангела береглась много столетий.

Софийский собор – это храм холодный, и даже в официальной переписке и газетных корреспонденциях того времени назывался Холодным собором, с большой буквы, – будто это официальное название храма, возведенного в честь Софии.

В моем детском мозгу слово «Софийский» не отражалось, но держалось. Холодного собора было вполне достаточно не только для детских воспоминаний.

Это – угрюмый храм, хоть и красивый, – нет в нем душевной теплоты.

Желтые трубы ангелов так велики и так тревожны, что заполнили весь потолок, весь купол храма, и сразу дают знать, что близится Страшный Суд – в земной ли его либо в апокалиптической сущности, было для храма, для священников, и для причта, и для молящихся, и, вероятно, для Бога – все равно.

Тревога есть тревога, сигнал есть сигнал.

Рублевские или околорублевские фрески заполняли весь храм, а суть Рублевской школы в ее заземленности – в смешении неба и земли, ада и рая.

И действительно – не звуки этих ангельских желтых труб собирают, трепеща; сами земные люди – ближе к входу (он же и выход) – это уже послерублевские напевы. Рай и ад теснятся поближе к выходу – а сам храм – во власти ангельских труб, тревоги Страшного Суда.

Для того чтобы сгладить, смягчить иконопись Холодного собора, рядом стоит зимний, теплый, уютный собор – где бывать неинтересно, – защищенный от всех ветров и дождей, от всей метеорологии. Потолки здесь низкие, углы сглажены, иконы – робкие, свечи – полупритушены. Никаких ангельских крыльев нет в этом соборном храме – он, с его архитектурой и иконами, держится на отступлении от неба, от слишком серьезной требовательности Холодного собора. Здесь все – современность, столько же древнего, как Государственный банк, присутственные места.

Вблизи нет зданий, которые могли сравниться с Холодным собором. Но на одной из улиц стоит деревянная церковь – ценность зодчества, равная Кижам, – церковь святого Варлаама Хутынского, покровителя Вологды, В честь этого святого назван и я, родившийся в 1907 году. Только я по своей воле превратил свое имя – Варлаам – в Варлама. По звуковым соображениям новое имя казалось мне более удачным, без лишней буквы «а».

Церковь эта – классический памятник русской архитектуры XVII века.

Наречение меня в честь покровителя Вологды тоже дань декоративности, склонность к паблисити, которая всегда жила в отце.

В Вологде жил десятки лет Батюшков, великий русский поэт, помешанный сифилитик. Много лет он прожил в психическом расстройстве и похоронен в Прилуцком монастыре – в семи верстах от Вологды.

Отец никогда не говорил мне о Батюшкове, хотя на доме Батюшкова, где располагалась Мариинская женская гимназия и где учились мои сестры, есть большая мемориальная доска, которую я мог читать не менее десяти раз в день, ибо этот дом – в двухстах метрах от нашего дома.

Из этого я заключаю, что отец не любил стихов, боялся их темной власти, далекой от разума, а главное – от здравого смысла. Поэтому только взрослым мне удалось повторить своими губами и гортанью: «О, память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной», но и понять его удивительную допушкинскую власть над словом – более свободную, чем у Пушкина, более необузданную, хранящую самые неожиданные открытия. Если бы не было Пушкина, русская поэзия в лице Батюшкова, Державина и Жуковского – стояла бы на своем месте. Лермонтова, возможно бы, не было. Но по сравнению с Батюшковым, Державиным, Жуковским Лермонтов не такая уж ощутительная потеря для русской поэзии.

Это – не хула Лермонтову, не хула Пушкинской плеяде! Но в допушкинских поэтах есть все, что дает место в мировой литературе русским именам.

К высотам Грозного Вологда никогда не возвращалась.

Петр I постройкой Петербурга взял совсем другой курс: «ногою твердой стать при море» – Балтийском. «Прошло сто лет, и юный град...» Прошло сто лет, и другой выдающийся русский император сумел «ногою твердой стать при море» – Черном.

Строительство Российской империи, начатое Петром, было закончено Николаем.

Николай I – фигура мало оцененная и историками, и писателями как судьями историков. Ошибался – это мы учим ежечасно, ежедневно, только потому, что воспитаны на Герцене и Льве Толстом. На декабристах, а не на стратегии Николая. То, что Николай был декабристом без декабризма – железные дороги, наступающая Россия, отмена крепостного права – как план чрезвычайно энергичного международного политика, – все это забыто.

В отличие от Наполеона Николай не ошибся в оценке роли парового винта.

Отношение Николая к Пушкину, даже к декабристам, в действительности было иным, чем заученные нами с детства эпизоды. Николай – фигура, которая еще ждет в истории своей реабилитации.

Современный историк (Пирумова) выражается о Николае так: «Чего-чего, а уж ума у этого императора хватало».

Строя Петербург, Петр не забывал о Севере. Дом Строгановых до революции сохранял некие торговые позиции и в Сольвычегодске, и в Вологде.

Петр ориентировал Вологду на Петербург – стало традицией поступление в высшие учебные заведения вологжан именно на берегах Балтийского моря. Москва для вологжан стала заштатной столицей, приютом неудачников и ворчунов, вроде Чаадаева, – история России решалась на Невском проспекте во всех ее неожиданностях – в бомбах, в выстрелах, в крестных ходах, в забастовках.

Только в двадцатые годы двадцатого столетия Вологда вернулась к своей допетровской позиции – в инфраструктуре более Ивана Грозного, чем Петра.

Вологда была провинцией и для Петербурга, и для Москвы, но для Петербурга она была городом менее заштатным, городом, где деятели будущей могли отдышаться после бурного бега. Это и была третья Вологда.

Третья Вологда обращена духовно, а зачастую и физически, материально – к Западу, к обеим столицам – Петербургу и Москве – и тому, что стоит за этими столицами, Европе, Миру с большой буквы.

Эту третью Вологду в ее живом, реальном виде составляли всегда ссыльные и по моральным, и по физическим причинам. Для этих ссыльных – сколько бы поколений ни жили они в городе – Вологда была лишь тюремным транзитом, ссыльным этапом их напряженной жизни.

Именно ссыльные вносили в климат Вологды категорию будущего времени, пусть утопическую, догматическую, но отвергающую туман неопределенности во имя зари надежд.

Это будущее России в Вологде было уже настоящим в философских спорах кружков, диспутах, лекциях.

Надежды эти всегда сбывались и сбывались немедленно – ссыльные бежали, их привозили из побегов, и все начиналось сначала.

Именно из Вологды Герман Лопатин увез Лаврова, чтобы тот успел принять участие на баррикадах Парижской коммуны – по железной дороге Вологда – Петербург. Лопатин в Вологде долго ждал поезда и чуть не сгубил дело.

Но поезда не стали ходить медленнее. Напротив, поезда стали ходить чаще, расстояние от столицы до Вологды все уменьшалось. Бежать становилось все легче и все заманчивей.

Тех ссыльных, кто не бежал, освобождали по заявлению. Вернуться в столицы было легко. Вековать в Вологде никто из ссыльных не хотел и не вековал.

Вот эта устремленность на Запад и создает третью Вологду – Вологду ссыльных – бывших, сущих и будущих. Такие семена никогда не остаются бесплодными.

Почва слишком богата, жирна, пропитана кровью – и в буквальном, и в переносном смысле.

Споры ссыльных между собой – это не споры о пальце Ивана Грозного – а о будущем России, о смысле жизни.

Временность ссылки не подменяет временности земного бытия, свободомыслие цветет в Вологде ярким цветом – свободомыслием Джефферсона, Франклина.

Доклад о современных, революционных движениях любой вологодский ссыльный может сделать вполне квалифицированно – на уровне самых последних философских, религиозных, экономических течений.

Политика здесь, как всегда, выступает в смысле рычага общей культуры. Вологда осведомлена и о Блоке, и о Бальмонте, о Хлебникове, не говоря уж о Горьком, или о таком кумире русской провинции, как Некрасов. «Колокол» Герцена – а не только «Кто виноват» – идет нарасхват.

Естественно, что отец – шаман и сын шамана[2] – вернулся после двенадцати лет заграничной службы европейски образованным человеком – вернулся не к первой Вологде – оттуда он вышел родом, не ко второй – исторической, от имени которой он уже научен был говорить, а к третьей Вологде – Вологде освободительного движения. В эту третью Вологду отец и вошел со всеми своими знакомствами, интересами, связями и идеалами – по возвращении из Америки, в 1905 году, за два года до моего рождения. Уже замысел моего рождения продиктован другим человеком, чем тот священник, который уезжал в прошлом столетии на Алеутские острова.

Я не был экспериментом отца, я был ставкой, шашкой в его игре – в шахматы отец не умел играть, а то бы я применил другое сравнение, – отнюдь не азартной, а рассчитанной, продуманной, разумной, победоносной партии.

И не вина отца, что силы, с которыми он столкнулся, были слишком неожиданны, масштабы их нельзя было определить ни в каком политическом клубе.

Даже Достоевский, который много угадал, прошел мимо практического решения этого теоретического вопроса.

Отец мало обращался к Достоевскому, к художественной литературе вообще. Позитивист до мозга костей, он не верил никаким пророчествам. Напротив, пророчества оскорбляли его разум – отец не нуждался в пророчествах. Поэтому в будущем он ничего не угадал... Он только воспитал в себе вкусы, понятия, пытался по этим понятиям жить и учить как-то других.

У Вологды была еще одна важная сторона. Там создавалась как бы «обязательная школа», «техминимум революции», выражаясь языком тридцатых годов. Эта обязательная школа, может, была и побольше, чем техникум, – вроде гимназического диплома.

Вологда была легкой ссылкой, и в то же время обязательной, как бы почетной и зависящей от самого ссыльного.

В этой легкости – ссылка могла быть прервана в любой момент по заявлению ссыльного, да еще близость к столицам – ночь до Москвы, ночь до Питера, – создавалось для либеральных высших чиновников статистическое оправдание. Ведь в тюремных заведениях статистика всегда в почете.

Сколько сослали – столько-то. Борьба, значит, ведется. А куда же сослали? В Вологду. Цифры успокаивали верхи и радовали либералов.

Вологду не сравнивайте с Сибирью. Вологда – это Москва и Петербург. Только об этом не говорите при начальстве.

Вологодская ссылка была отпиской либеральных царских министров начала XX века. Потому-то в Вологде и не проходило дня без рефератов, диспутов, споров.

Конечно, как во всякой ссылке, в Вологде были свои драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны.

Но я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души – не более.

Но: публичность этой третьей Вологды, ее ориентация на глобальность, на современность создает особую страну в северном русском городе.

Эта третья Вологда не писала своей истории, как написали Нерчинск, Акатуй и – в более широком смысле – Сибирь.

Для русского освободительного движения Вологда – это своеобразный Барбизон для французской новой живописи.

Третья Вологда была вся в живой борьбе, глубоко дыша воздухом обеих столиц. Укрепляла свои силы мышцами традиций поисков смысла жизни, решения вечных вопросов.

Энтузиастов хватает в каждом русском поколении.

Во время моей юности я слушал лекцию Владимира Александровича Поссе[3] – тоже одного из праведников прошлого столетия. Сама лекция его так и называлась: «В чем смысл жизни?» В. А. Поссе был только одним из сотен, из тысяч других.

Все эти речи обращались именно к третьей Вологде. Традиции города в этом смысле были чрезвычайно плодотворны. И хотя меня не лекция Поссе заставила задуматься над смыслом жизни – Поссе немного опоздал, – все же я слушал его с большим мальчишеским вниманием и пиететом.

Поссе был седой краснощекий старик в вельветовой куртке, размахивающий маленькими короткими руками над затаившим дыхание залом женской гимназии.

Дорог для утверждения добра Поссе предлагал очень много, слишком много для такого юного догматика, каким был я.

Третья Вологда знала пути на любые вкусы. Третья Вологда организовывала народные читальни, библиотеки, кружки, кооперативы, мастерские, фабрики.

Каждый уезжающий ссыльный – это было традицией – жертвовал свою всегда огромную библиотеку в книжный фонд Городской публичной библиотеки – тоже общественного предприятия, тоже гордости вологжан.

III

Резкой металлической дробью щелкал рукомойник, и где-то совсем близко за стеной на этот звук отзывались колокола. Чесучой шуршала одежда отца, вздыхала с чуть слышным скрипом тяжелая дверь в парадное, выпуская отца на улицу, звякал тяжелый крюк, возвращаясь в гнездо под рукой матери. Все стихало. Через какое-то время звуки возвращались в обратном порядке. Стучал откидываемый крюк, скрипела дверь, шуршала одежда. Колокола негромко отыгрывали какую-то поспешную, торопливую мелодию, металлом гремел рукомойник на кухне.

Семья садилась за утренний завтрак, который у нас почему-то назывался чаем, хотя меньше всего тут было чая.

Каждому выдавалась серебряная ложка; ставилось молоко – топленое и обыкновенное – и сахарный песок наполнял сахарницу – отец не признавал другого. Ни пирожных, ни конфет никогда не давалось. А если пироги, то только собственной материнской выпечки, да и то если остались от праздничных трудов.

Праздников, впрочем, в городе было немало. Я как-то подсчитал все царские дни, церковные и светские праздники. Насчитал около 120 дней в году – когда пироги могли быть традицией.

Большой раздвижной стол с обеих сторон занимали дети – отец на главном месте со своим стаканом с серебряным подстаканником и огромной, какой-то особенной ложечкой, которая щелкала весьма выразительно, аккомпанируя то заочным мыслям, то открытым поучениям отца.

Для матери тут не было места. Она только носила посуду, подавала самовар, успевала все нужное сварить и приготовить. Вдобавок отец любил черный хлеб собственной материнской выпечки. Это заставляло мать ежедневно заводить опару, выпекать хлеба, хотя в магазине хлеб был гораздо вкуснее и дешевле, и все дети любили магазинный хлеб.

Но дома подавался хлеб только домашний, и притом самой свежей сиюминутной выпечки, теплый.

Отец вечно спешил на какие-то заседания, собрания – уже за завтраком было видно, что он давно вне дома.

И вот он вынимал свои огромные золотые часы, резко щелкала крышка, привлекая всеобщее внимание к солнечному лучу зайчика, прыгавшего на этой крышке. Крышка закрывалась, и отец уходил.

Эти золотые часы – американский полухронометр – хорошо известны мне с детства. Именно по ним мама моя проверяла, заводила и переводила свои дешевые кухонные ходики с гирями. Никаких других часов, настольных, например, в нашем доме не было.

Когда наступило время продажи этих часов, выяснилось, что часы – не золотые, а только позолоченные, – тоже одно из открытий моей юности. Но как бы то ни было, часы пережили разрухи, революцию и войны, пережили и лагерь – были со мной на Колыме, после освобождения и вернулись в Москву и живут до сих пор у меня.

IV

Крошечная казенная квартира из трех комнат и кухни для семьи из шести, а когда родился я – из семи человек;¹ в казенном соборном доме для причта – старинной постройки, охраняемой государством сейчас, – дом уцелел из-за близости к собору Ивана Грозного, к ценному архитектурному комплексу.

Устраивал он отца и не только по своим архитектурным качествам.

Жизнь соборного священника, живущего на жалованье, а не на сбор подаваний во время «славления», привлекала его, и ни старшие дети, ни я никогда к этой стороне поповской жизни не обращались – отец просто выключал свою семью из разнообразного круга влияний специфического быта духовенства.

Вторым достоинством этой службы была близость к реке – от реки Вологды дом отделяла минута ходьбы, что отец – рыбак и охотник – считал весьма важным.

Недалеко был и базар.

При квартире во дворе стояли сараи – «дровеники» на ярком вологодском диалекте, – были огороды, сад, где у всех были участки, чтобы духовенство не заболело архиерейской болезнью, описанной Лесковым.

Вплотную к огородам примыкал большой архиерейский сад, правильнее назвал бы его парком, где иногда прогуливался архиерей, живший тут же, только в особых палатах.

Тут было чем компенсировать некоторую квартирную тесноту. Ни сыновья, ни дочери никогда не имели в доме отца даже подобия отдельной комнаты – ни в детстве, ни в молодые годы.

Отец – полузырянин, выходец из самой глуши усть-сысольских деревень – считал, видимо, такую возможность излишней, и прежде всего по педагогическим соображениям.

Позднее я попал в гости к своему гимназическому товарищу Виноградову, сыну ссыльного меньшевика, и был просто поражен, что в его собственном двухэтажном деревянном доме у городского театра все дети имеют отдельные комнаты.

Но, разумеется, и не только потому, что авторитет отца был в нашей семье непререкаем, а просто мне своим детским разумом казалось, что столь просторной жилплощади и не нужно. И я не завидовал.

По резкому звонку – электричества в доме нашем не было – открывалась обитая клеенкой дверь парадного, и я перешагивал порог своей квартиры. Не очень нам разрешалось пользоваться парадным для повседневной жизни, существовало черное крыльцо, но гости, визитеры попадали именно через это парадное крыльцо, на котором была приколотая визитная карточка отца.

Дверь эту я вспоминаю по двум причинам. Во-первых, именно эту дверь я затворил за собой, навсегда покинув город своей юности, дом, где я родился и вырос. Это было ветреной дождливой осенью 1924 года в листопад боярышника, березы. Вихри метелей кружились по городским улицам, взрывались при неожиданном изменении направления ветра.

Другая причина та, что этой тяжелой дверью в мальчишеской драке мне оторвали палец – палец попал в самый замок и был оторван, как срезан, и мне слепили в больнице и кое-как срастили. Но случай этот с пальцем я и сейчас не могу забыть.

Да, как-то вышло, что я уходил не с черного крыльца.

¹ Уточнить состав и возраст членов семьи позволяют сохранившиеся данные из клировой ведомости Софийского собора за 1907 год: «В семействе у него (священника Тихона Николаевича Шаламова. – И. С.): жена Надежда Александровна – 37 лет, дети: Валерий-13, Галя-11, Сергей-9, Наталия-7, Варлаам-6 месяцев». Гос. архив Вологодской обл., ф. 496, оп. 1, д. 18474, л. 609/об.

В прихожей, где, впрочем, нам (или мне) не давали играть, стояли вешалки и открывалась дверь в зало. Другая дверь вела в кухню, но мне пользоваться этой дверью не приходилось – для детей было открыто только черное крыльцо.

Слева стоял огромный дубовый шкаф с тяжелой дверью, которой надлежало распахиваться, открывая свои тайны в полутьме – свет доходил только через дверь, ведущую в зало, и дверь, ведущую на кухню, – но этих двух лучей было недостаточно, чтобы осветить внутренность шкафа, и летом, и особенно зимой, тогда зажигали лампу-пятилинейку, вешали на стену. Мы действовали в шкафу на ощупь. Дубовый шкаф заключал в себе только отцовские вещи.

Отец не без основания в своей общественной карьере придавал большое значение паблисити.

В шкафу висела повседневная одежда отца – хорьковая шуба с бобровым воротником, бобровая шапка, шелковые рясы самого модного и дорогого покроя.

Второй шкаф был отведен для домашних вещей нашей остальной семьи – мамино пальто, Наташино, Галино пальто, а также и одежда двух братьев, а позднее и трех. Прикасаться нам к отцовскому шкафу, именуемому «гардероб», запрещалось.

Из прихожей прямо против входной была другая дверь без стекла, ведущая в проходную комнату, где спали три брата. В углу прихожей располагался уверенно и просторно багажный сундук, в каком плавали в заморское путешествие вещи семьи. Сундук был заклеен всевозможными путевыми заграничными клеймами, что, по тайной мысли отца, содействовало паблисити. А может быть, и без всякого паблисити отцу просто нравилось, чтобы вещи напоминали ему о чем-то важном или любимом, о чем-то дорогом.

Поэтому этому сундуку всегда находилось достойное место. Сундук отвечал на внимание хозяев удобствами, и в нем на легчайших крестообразных прокладках помещалось множество вещей. В революцию были проданы вещи, а потом и сам сундук, увезенный в какую-то крестьянскую обитель, чтобы в свою очередь напоминать деревенскому хозяину о времени, о победе, успехе.

V

Глухая дверь с двумя створками – свет шел только из фрамуги – открывалась в зал, или, по домашнему диалекту, – «зало».

Это была проходная комната с такой же двойной створчатой дверью справа, ведущая внутрь квартиры, в комнату сестер. В мое детское время комната эта была наглухо заперта на ключ и никогда не открывалась, а в мое юношеское время была отобрана, и в ней жили жильцы по ордерам горжилотдела. Дверь в комнату сестер забили гвоздями, и пользоваться парадной дверью нам уже почти не пришлось.

На окнах висели легкие кружевные занавески – отец не переносил штор, а между окнами стояли зеркала от потолка до полу в дорогих рамах черного дерева.

Диван и два глубоких кресла черного дерева с плетеными сиденьями стояли слева у стены, еще один диван того же гарнитура с плетеным сиденьем стоял у стены напротив удивительного предмета – ящика тоже черного дерева, застекленного параллелепипеда с открывающейся стеклянной крышкой, со стеклянными стенками вроде аквариума. Но это был не аквариум, а коллекция редкостей, которую вывез отец с Алеутских островов. Коллекция эта была составлена по знаменитому принципу Музея естественной истории в Нью-Йорке. В том музее отец бывал неоднократно за свою двенадцатилетнюю службу в Америке.

Бывал он и в других музеях – в Берлине, в Гамбурге.

Принцип подлинности – вот что отличало черный ящик в зале. Тут не было никаких копий, никаких муляжей, а труды отца Марины Ивановны Цветаевой, наверное, не были одобрены моим отцом.

Не муляжи в натуральную величину, не фальшивые подделки, а подлинность, вот что хранилось в этой стеклянной коробке.

Индийские стрелы, алеутские топоры, культовые предметы эскимосов и алеутов – маски шаманов и орудия еды, моржовый клык во всем его желтоватом блеске лежали тут же...

Тут же лежала бутылка с кораблем внутри – известный портовый сувенир массового производства. Хранил ее отец, наверно, в память океанских своих путешествий. Тут же лежала фотография парохода, на котором отец двадцать лет назад уехал в Америку.

Даже я сумел сделать вклад в эту этнографическую коллекцию. Пойдя в годы революции по подвалам архиерейского дома, по закоулкам Вологодского кремля, я нашел два каменных ядра, которые после проверки у музейных работников – такие проверки отец считал необходимыми, и приговор официальных работников такого рода был для него непрекаем, – каменные эти ядра он запер собственной рукой в нашу домашнюю естественно-научную коллекцию.

Создание такой коллекции вполне отвечало тщеславию отца, служило темой для «светских» разговоров во время приемов и визитов и семейных праздников, вообще было подходящим материалом для бесед отца, – ненавидящего пустые разговоры.

Эта коллекция должна была высечь искру из моего «медного лба», чтобы загорелся свет не столько Божий, сколько Прометеев.

Лбы моих братьев, наверно, уже были испытаны этим домашним музеем и не дали желаемого результата. Но, критически относясь к педагогической деятельности своего отца, – а он считал себя великим педагогом, – при воспоминании об этой коллекции я могу только восхищаться принципами, правилами, океанским ветром, залетевшим в наши комнаты, и следом великих походов.

Отец хорошо понимал разницу между подлинным и муляжом. Напрасная трата денег в музее Александра III возмущала его.

На стенах не висело никаких портретов – ни священнослужителей, ни царских, ни мертвых, ни живых.

Стены были оклеены обоями, пол выкрашен.

В комнате находилась еще одна экзотичность, вызывавшая разговоры во всем городе, – ее я приберег на конец.

Это висевшая в правом углу большая, даже огромная, икона с огромным ликом Христа в терновом венце. Перед ней круглые сутки горела лампада на серебряной цепи.

Отец и молился перед этой иконой и служил молебны, когда приезжали в праздники «славильщики», – это была традиция, от которой отец уклониться не мог. Но все молебны служили именно перед этой иконой. Это не была старинная икона, не Рублев и не Феофан Грек, хотя Рублевская школа сильная имелась в Вологде – в Прилуках, Кириллове, Белозерске, и старинных икон видел отец, наверное, немало.

Отцовская икона была – репродукция картины Рубенса, простая олеографическая картинка, наклеенная на фанеру и заключенная в узкую раму. Эту репродукцию отец надлежащим образом освятил, освятил по всем каноническим правилам, и молился перед ней – до самого конца жизни.

Бешенство, в которое приходила «черная сотня» Вологды при виде этого кощунства, было в городе хорошо известно. И в столицах тоже.

Митрополит Александр Введенский, приятель отца, при сходных обстоятельствах, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.

Я не епископ и не священник. Но свою маму хотел бы причислить к лику святых.

Тщеславие отца питали другие, вполне земные истоки.

VI

Это была проходная комната с одним окном и тремя дверями, где жили два моих брата Валерий и Сергей. Кровати их стояли, как и кровати сестер, под прямым углом друг к другу, и подоконники, и кровати, и стены в этой комнате были завешаны охотничьим оружием и рыболовными снастями. Под кроватями спали две собаки: сеттер Спорт и пойнтер Орест, визжавшие при каждом движении братьев, когда они собирались на охоту.

У каждого из братьев было свое ружье – двустволка центрального боя, традиционный подарок отца мужчинам в нашей семье с незапамятных времен.

У Сергея, младшего, талантливого охотника и беззаветного рыбака, были еще два ружья, которые он купил самостоятельно, и что, конечно, вызывало всегда одобрение отца. О брате Сергее, которого я считаю не менее известным в городе человеком, чем отец, хотя и своеобразной известности, я напишу отдельно...

Комната была в непрерывном движении – заряжали патроны, пробовали двустволки, новые охотничьи приборы.

В этой же комнате слева от двери – сразу у стены стоял большой купеческий сундук «со звоном». Этот сундук ни в какой Америке не бывал, но оказался очень удобной вещью гардероба в большой семье – сундук было удобно открывать, и мать держала в нем всякие свои вещи.

А на крышке сундука на тюфячке спал я всю тамошнюю жизнь, тюфячок только становился все длиннее.

Тут я рос и вырос и научился раскладывать длинные литературные пасьянсы. Оружие братьев, их дела не вызывали у меня ни малейшего интереса.

У меня были свои дела – школа, товарищи, чтение, игра в фантики.

Я по возрасту далеко отстаю от братьев и сестер. Ближайшая ко мне по годам сестра Наташа старше меня на семь лет. В 1914 году мне было семь лет, а ей четырнадцать – разница очень велика.

Потом на моих глазах охотничье оружие сменилось боевым – оба брата вернулись из армии – один офицером, другой солдатом. Они привезли, особенно второй брат, большое количество боевого оружия: винтовки, револьверы, пулеметные ленты. После все это было сдано на военные склады – один брат демобилизовался, а второй, Сергей, продолжал служить до 1920 года, когда был убит взрывом гранаты. А собаки были все те же, Спорт и Орест, стали чуть постарше, но были и в упоении бросали лапы на плечи братьев.

А я все так же спал на том же сундуке и раскладывал свои литературные пасьянсы, свои таинственные фантики.

Позднее, уже в юности, я переехал с сундуком в комнату родителей – в угловую с тремя окнами на двор, где стоял обеденный стол раскладной, самой дешевой фабрики, и семейная кровать с пружинным матрасом и решеткой с шишечками. Ширма отделяла кровать от комнаты. Здесь же стояло единственное кресло отца, домашнее, с высокой спинкой, но не вольтеровское, а со скошенными перилами. Это кресло придвигалось к обеденному столу. Перед письменным же столом стояло кресло отца типа венского стула – легкое, твердое и сухое.

Письменный стол только в юности казался мне огромным – это был фабричный письменный стол с двумя парами тумбочек, в которых хранились отцовские бумаги.

Чернильница, письменный прибор, икона, лампада.

Картина Рубенса после жилищного ограничения переехала именно сюда.

Тут же стоял комод довольно затрапезного вида с всегда раскрытыми ящиками, буфет ломаный-переломанный – и все. Никаких других буфетов и комодов у мамы не было.

В нашем детстве за этим столом обедала вся семья, а в юности моей только мама с отцом и я, а сестер и братьев уже не было дома.

В праздник стол накрывался в комнате сестер.

VII

В комнате сестер с двумя окнами по фасаду стояли две кровати с пружинными матрасами под прямым углом друг к другу, а вдоль стены два шкафа – один вроде комода, поверх которого стоял шкаф карельской березы – много-полочный, многоящичный – кустарное изделие какого-то местного искусника. Это была аптечка – царство отца: всевозможные рецепты на сигнатурках, порошки, пластыри. В те времена не было таблеток, поэтому все лекарства готовились и принимались только порошками. Тут же стояла склянка с йодом и следы брызг от нетерпеливой руки отца – единственного авторитетного лекаря в доме. Какие-то отвары, декокты – все это остатки от каких-то исключительных событий – отец не любил ни лечиться, ни лечить. Он твердо держался курса Земляники: что «если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».

Смеясь над этой репликой в театре или в домашнем чтении, отец твердо держался этих высмеиваемых правил.

Никаких кавалеров сестры тут принимать, конечно, не могли, и вся их девичья жизнь проходила вне дома.

Рядом со старым комодом, задевая за шкаф карельской березы, стоял большой книжный шкаф отца – средоточие моих детских мечтаний. Если мебель в гостиной была из черного дерева, – книжный шкаф, огромный, глубокий, застекленный, был из красного дерева.

Это тоже было отцово царство, с ключом от верхней и нижней половин. Нижняя была двустворчатая, глухая – не было видно, какие книги там лежат, а верхняя – под стеклом. И я в детстве забирался в комнату сестер, разглядывал, встав на табуретку, отцовские книжные сокровища.

Не давая рассмотреть ничего другого, том в том стояли книжки «Знания», переплетенные, со штампом городской библиотеки Общества трезвости.

Остальные части занимали евангелия и потертые отцовские требники, несколько таких же затертых служебных книг.

Далее на тех же полках стоял «Петербург» Белого, курс «Новая история», сборник «Вопросы идеализма», книга Булгакова «Капитализм и земледелие», Флоренский – «Столп и утверждение Истины», несколько брошюр Маркса, Толстой – «Война и мир» в четырех томах, хрестоматия Галахова для средней школы, трехтомник Михайлова, переводы Гейне без переплета – приложения к журналу «Семья и школа» или «Природа и люди» – и все.

Очевидно, сокровища скрывались в нижней половине, и мне еще только предстояло их разглядеть.

С этими мыслями я слезал с гигиенического венского стула – в квартире не было мягкой мебели – и переходил в следующую комнату, где спал я сам.

VIII

Брат мой Сергей, исключенный из пятого класса вологодской гимназии за неуспеваемость, был в высшей степени примечательным человеком, талантливым и одаренным в не меньшей степени, чем отец, хотя и в несколько ином роде, не менее популярной в городе личностью.

В шестидесятых годах в Москве, в беседе со мной, коренной вологжанин – художник Сигорский² сказал: «А я и жил напротив Шаламовской горки».

Шаламовская горка – это Соборная горка, но прозвище получила отнюдь не от отцовской фамилии. Она названа, прозвана и спокон века называлась в Вологде по имени моего брата Сергея.

Выросший на Алеутских островах – знаменитый в городе пловец, удачливый охотник, он был главным организатором знаменитого в Вологде народного катанья – ледяной горки с высокой Соборной горы, где сани взлетали на противоположный берег реки, и свист саней заглушал моторы первых самолетов, поднимавшихся в небо Вологды.

Эта гора строилась под непосредственным руководством брата.

Во всяком любительском общественном деле есть человек, который найдет поливщиков льда, срубит елки в лесу, не менее трехсот, – вколотит эти елки в снег вдоль ледяной дорожки, достанет провода, электрические лампочки, осветит фонарями эту бесплатную городскую гору – любимое зимнее развлечение вологжан. Само собой вышло, что этим делом всегда занимался Сергей.

Он был хозяином Соборной горы, главным инженером. Гору открывали к Рождеству для катания всего города, а таяла она в марте. На следующий год все начиналось сначала.

Все это делалось, разумеется, в порядке, как теперь говорят, субботников, но гораздо раньше события на Казанской дороге. Молодежь трудилась самозабвенно – с утра до ночи. А Сергей управлял всем этим строительством как безусловный и окончательный авторитет.

Я тоже был однажды освещен отблеском его славы.

Брат привел меня на воскресное катанье и поручил какому-то мальчику постарше меня.

– Ну-ка подвинься, пацан, – весело сказал мне усаживающий свою даму на сани «тормозки», как они назывались на ярком вологодском диалекте.

– Это не пацан, – холодно сказал мой провожатый, – это брат Сережки Шаламова.

Пареньку пришлось усадить свою даму чуть пониже, а я остался стоять, разглядывая гору сверху.

Рядом город всегда делал большой каток, где не было, правда, беговых дорожек. Это был прямоугольник льда, который тоже поливали, чистили, загроживали елками.

Ходил Сергей и на лыжах в большие походы.

Летняя известность брата в городе превосходила его зимние успехи.

Знаменитый пловец на великие скорости еще без секундомера, на стайерские дистанции еще без стайерских правил и марафона. Плавание в одиночку из устья реки Тошни до Вологодского моста – на спор. Каждое лето приносило подвиги брата в таком же роде.

Брат – самый лучший в городе ныряльщик за мертвецами.

Мертвецов – в пьяном, разумеется, виде – в Вологде тонуло очень много. Всегда ездила вдоль берега лодка, нащупывая шестом тело. И уж если тело было не прибито к берегу, а найдено шестом и нащупано – три четверти успеха обеспечены.

² С художником Василием Николаевичем Сигорским (1902—1976) В. Т. Шаламов был знаком еще по вологодской юности. Жена Сигорского Лидия Васильевна (ум. 1986) – та самая Лида Перова, исполнительница роли княгини Трубецкой, о которой пойдет речь далее.

Я сам подошел к такой лодке, караулившей что-то в воде или на дне.

– Что это?

– Мертвец.

– Ну что, чего ж его не тащат?

– Сережку Шаламова ждут. Он будет тащить.

И действительно, примчавшийся брат быстро разделся, по какой-то лодчонке перешел на лодку, державшую мертвое тело шестами, и по одному из шестов скользнул вниз и вынырнул вверх, таща за собой за волосы мертвеца. Сдав мертвое тело родным, брат направился для совершения своих очередных подвигов, вроде уличных драк.

Но самая главная слава брата была в его удачливой охоте, брат дышал охотой, вся жизнь была подчинена охотничьему ритму, начиная с ранней-ранней весны, с половодья, где в топях брат убивал уток во время перелетов. Эта охотничья страсть не может быть удовлетворена одним ружьем. Одно ружье – это прогулка, даже охотничьи поездки брата на собственной лодке, с собственным ружьем напоминали охотничьи экспедиции, когда длились по несколько дней.

В конце какого-то дня еще с берега начинался крик: «Едут, едут, Сережка едет!» – и к городской пристани, где полоскали белье, причаливала лодка, осевшая от тяжести уток.

Добыча тащилась к нам на двор, и мама распределяла на крыльце все это богатство поровну между всеми участниками – только за лодку Сергей получал лишнюю часть. Это я хорошо помню. В его охотах никто не стрелял «на себя», а дележка всегда была у нашего крыльца.

Толпы зрителей, радостный вой похудевших охотничьих псов – все нравилось и отцу, и матери чрезвычайно.

В компании городских охотников Сергей был авторитетом. Он знал на тридцать верст кругом города все охотничьи места. Подружейная охота – прогулка с сеттером по лесам и полям подгородным – мало как-то занимали Сергея. Он ходил и на эти прогулки, но оживлялся только во время больших экспедиций, подготовленных им самим.

Брат был столь же удачливым рыболовом, – отцовские сети – закидной невод и ботальница – всегда были к его услугам. Так подплывали лодки, доверху груженные рыбой, и рыба взлетала на нашем дворе, подброшенная рукой матери.

Кончалось лето – охота, рыбная ловля, плавание, и начиналась ледяная гора.

В этот круговорот природы брат вписался необычайно удачно.

Весь день с нашего двора шла стрельба – проверка кучности боя и прочих достоинств централок.

Точно так же на сборы ягод, грибов уходили отцовские лодки, и в этих экспедициях Сергей играл немаловажную роль.

Именно Сергей ездил за мукой во время разрухи в какой-то «Ташкент – город хлебный» и привез мешок муки.

Сергей был любимым сыном и матери, и отца.

И хотя я был самым младшим, на десять лет моложе Сережи, последним ребенком матери, я не мог занять в ее сердце первого места. Первое место было отдано целиком Сергею.

Матери – потому, что именно он был вполне реальной поддержкой в семье. Семейный авторитет был для него выше всего на свете, за исключением охотничьих прогнозов. Сергей почти никогда не забывал во время многочисленных охотничьих поездок привезти матери что-нибудь в хозяйство, что всегда было и нужно, и полезно. Для отца и выбора не было. Сергей был его незаживающей раной, вечной обидой – проигранной картой в общественных сражениях отца.

И хотя ничего особенного в исключении брата из гимназии не было, – родившийся где-то на острове Кадьяк, выросший в морской свободе, эту свободу он считал своим идеалом и мог заниматься действительно плохо, – отец никогда не простил отцам города исключение сына из гимназии.

В отцовском понимании, и мать разделяла это мнение, – исключение сына вызвано исключительно политикой – способ личной мести отцу за его смелую борьбу за лучшее будущее России.

Отец не хотел подумать, что Сергей действительно плохо занимался – вырванный из жизни и природы и поставленный в унижительные школьные условия – непереносимые по дисциплине, по ненужности занятий.

Сергей был, безусловно, авторитет, идеал, которому подражали все уличные мальчишки. Но не только по уличным подвигам, не только охотой вошел Сергей в сердце отца и матери.

Сергея всю жизнь преследовала смерть.

Череп брата, левое темя было разрублено в детстве тяжелым ударом – звездчатый рубец прикрывал детскую травму.

В детстве, в состязании луков на Алеутских островах товарищ брата запустил индейскую железную стрелу. Стрела вернулась и рассекла череп брата. Сергей лежал дома, не вставая, там ведь не было больницы, несколько месяцев, между жизнью и смертью. Спор был решен в пользу жизни. И Сергей поднялся.

Весной город управляет ручьями, ищущими выхода, грозящими половодьями. Соборная гора не укреплена и требует внимания и заботы всего населения, чтобы снеговые ручьи отошли по канавам, канавкам, канавицам в большие оттоки – протоки. Сотни мальчишек по берегам орудуют, ставя плотины, разрушая заторы. Брат самым естественным образом занимал командное положение в этой работе – она кончалась с ледоходом.

Река Вологда – медленного течения, и ледоход спокоен, как бы ни были велики снегопады. Важно только управлять лесным снегом весной на ее последнем этапе, когда снеговая вода по побуревшим от грязи и солнца ледяным откосам сольется с потоками весенней воды, несущей разбитые льдины.

Ручьи, водотоки – все это работа нескольких дней в вологодской весне.

Вот тут человек самым естественным образом сливается с природой – традиционное единство.

На Соборной горе стояли испокон века деревянные скамейки, врытые в землю скамейки без всяких спинок, – просто длинные доски прибиты к врытым в землю столбам. Там отдыхали горожане летом и осенью. Да и весной тоже.

В 1914 году с началом войны, с победными реляциями о подвигах генерала Самсонова и Кузьмы Крюкова, с обилием конфетных бумажек с портретами генералов, спичечных коробок, оклеенных физиономией геройского казака, подцепившего на пику десятки тевтонов, в Вологду стали прибывать первые доказательства силы, мудрости и военного таланта наших генералов – захваченные в плен немецкие солдаты и офицеры. Немецкие каски показывались в каждой семье.

Вологда всегда была местом, где размещались военнопленные – и австрийцы, и чехи, и галичане, после Брусиловского прорыва. Но в начале войны – только немцы. Ходили они по улицам города свободно, дышали той же самой весной. Гуляли немцы обычно компаниями – возгласы ликующих мальчишек не смущали их.

И вот в весну 1915 года немецкие солдаты затеяли перебранку с той группой весенних гидрологов, которую возглавлял брат...

Немцы не знали русского языка, русские – немецкого, а на незнакомом языке любое оскорбление принимает неожиданно значительные формы. Возможно, что немец, ругав-

шийся с Сергеем, был тоже из молодых каких-нибудь дрезденских героев, который боялся отступить, показаться недостаточно храбрым в глазах своих же товарищей. Этот дрезденский герой, возможно, был похож на вологодского героя – моего брата.

Как уж можно оскорблять, не зная языка? Брат потом говорил, что напомнил о зверствах над Панасюком. Фотография Панасюка с отрезанным носом и ушами обходила тогда газеты. Рукой, что ли, Сергей показывал немцу историю с Панасюком.

Эта военная пантомима, завуалированный танец, громкий спор двух врагов с помощью рук – боевое сближение двух городских героев привело к паузе, – и хотя немец был взрослым солдатом, а Сергей мальчишка пятнадцати лет, Сергей, конечно, не побежал и не отступил. Говорят, немец ударил брата кулаком, а Сергей ударил немца палкой, той самой палкой, которой проводил ручьи.

И тогда немец вынул кинжал военный и ударил брата кинжалом, целясь в сердце. Сергей отклонился, и кинжал немца пропорол ему живот. Нож – страшное оружие для брюшных ранений – гораздо хуже пули, дробы.

Сергея увезли в больницу. Хирургом там был Мокровский – знаменитый хирург и энтузиаст, в совершенстве знавший свое дело, достойный наследник Пирогова.

Но в 1915 году Александр Флемминг еще не изобрел пенициллин – до открытия оставалось еще поколение, и жизнь брата повисла на волоске.

Мокровский поступил по самым совершенным рецептам, которые, впрочем, мало отличались от рецептов Пирогова: удалил пораженные кишки, сшил остальные. Сергею надлежало перебороть инфекцию самому.

На начавшийся перитонит Мокровский ответил новой операцией, новым удалением всего опасного. И после этой двойной операции Сергей выздоровел.

К этому времени относится странное детское воспоминание – раздраженный шепот отца, даже не шепот, а приглушенный голос. Будто я сплю, а где-то рядом шуршит газета, и отец гневно комментирует «Ша! Жэ! Не могли напечатать полностью, что ли?»

В памяти моей осталась газетная заметка строк на шестьдесят, где описывается этот случай так, как я только что рассказал. Но заметки такой в «Вологодском листке» сам я никогда не читал, – запомнил с чужих слов, что ли?

В 1968 году, перебирая «Вологодский листок» военных и революционных лет, пока газета не преобразилась в «Известия Вологодского Совета», я нашел странную заметку в марте или апреле – не помню сейчас.

«Что касается происшествия на Соборной горе с гимназистом Ш., то редакция обещает, по расследовании обстоятельств дела, опубликовать все, что интересует читателей».³

Вот такие бывают чудеса памяти.

Ранение брата входило в область международного права, и решения по этому делу никогда не были сообщены семье.

Впрочем, не прошло и двух лет, как Вологда, и страна, и наша семья были потрясены событиями, оттеснившими ранение Сергея в самый глухой угол. Только я о нем помню. У брата <не было> ни невесты, ни жены, когда он умер. Только в зыбкой памяти моей хранится его рана и судьба.

Меня вместе с сестрой Наташей мама водила к Сергею, когда он уже шел на выписку. Издали он мне показывал, отогнув рубашку, звездчатый рубец, коричневый, в правом углу живота.

– Попутно удалили аппендикс, – сказал Мокровский, стоявший тут же. Я тогда не понял, о чем тут идет речь, о каком аппендиксе, и только через много лет сообразил, что

³ Заметка опубликована в «Вологодском листке» от 31 марта 1915 г.

Мокровский был сторонником раннего удаления червеобразного отростка слепой кишки и проводил свою идею постоянно, не теряясь в самых неожиданных ситуациях.

Сергей вернулся домой, пошел добровольцем в армию в 1917 году простым солдатом – образование не давало ему права на офицерскую школу, как старшему брату, приезжал в революцию домой, потом поступил в Красную Армию красноармейцем химической роты и был убит в 1920 году <осколком> от разрыва гранаты. Отец сам ездил за телом.

Сам он стоял около гроба в первой комнате, в зале. Оттуда были вынесены все красоты паблисити, и отец остался лицом к лицу со смертью своей главной надежды. В епитрахили, измятой, перекосившейся, отец сидел на стуле около тела сына всю ночь. Оторванный нос брата, ухо дали надежду поверить, что это не брат, что погиб кто-то чужой, и когда отец вышел куда-то, я проскользнул в комнату и отогнул простыню для самой надежной проверки. Именно я открою семье, что произошло, что тело – совсем не Сергея. Я воскрешу семью, возвращу ее к жизни. Но звездчатый шрам в правом углу живота был на месте, грубая толстая кожа брата была мертвой, холодной, и я выскользнул из комнаты.

IX

Старший мой брат Валерий был ничтожеством. Отец совершенно подчинил его волю своей.

Валерий окончил Вологодскую гимназию и мог, и хотел получить высшее образование. Право на поступление без экзамена в университет у него было. Но Валерий не имел склонности к медицине, а отец не представлял иного высшего образования для мужчин из Шаламовского рода, исключая духовное, к которому у Валерия не было склонности.

Но ведь можно было окончить традиционный для вологжан Лесной. Выбор был достаточный. Однако отец заставил его в порыве патриотизма поступить в офицерскую школу, и как только школа была окончена – пойти на фронт, на передовую, в Действующую армию, как это тогда называлось.

Валерий заикнулся было, что хотел бы жениться, и невеста уже есть, но отец наотрез отказал.

– После первой раны. Приедешь в отпуск, и сыграем свадьбу.

Так и было. Была торжественная офицерская свадьба, где я сидел по левую руку отца. Отец, верный своим обычаям, не пил и не считал нужным пригубить.

Невесту Валерий показал отцу. Она понравилась обходительностью, бойкостью.

– Она умнее тебя, – сказал отец сыну.

Свадьба не была удачной, ибо измены начались чуть ли не со свадебного дня. Потом она как-то скоро умерла, уже в разводе с Валерием, – от туберкулеза.

На фронте Валерий встретил революцию, приехал домой, и вот тут-то я был свидетелем одного важного разговора. Отец меня не стеснялся, мальчиком, что ли, считал, а может быть, его вечная привычка – учить детей извлекать поучительные уроки из самых разнообразных жизненных ситуаций – такой вариант возможен вполне.

– Я слышал, – сказал отец, – что ты хочешь демобилизоваться из Красной Армии.

– Да, – сказал Валерий, – я так решил.

– Не советую тебе этого делать, – сказал отец. – Подумай хорошо. Ведь военное дело – это твоя специальность, твоя профессия. Так какого черта ты не идешь дорогой, которую уже выбрал и даже успел получить образование и стаж? Ты не хочешь служить в Красной Армии? Напрасно. Боишься разговоров о классовом враге? Пойми, что именно в армии будут наибольшие послабления. Разве не делает так Брусилов, Бонч-Бруевич? Разве ты один? Все они служат России. В России сейчас Советская власть. Вот и служи ей, как военный специалист. Ни в коем случае именно сейчас не уходи.

Но желание родственников жены оказалось сильнее, и Валерий демобилизовался.

Это было страшной ошибкой, исковеркавшей всю его жизнь, хотя отец, за исключением популярного примера из лучших людей России, ничего, наверное, и не имел в виду в своих опасениях и предостережениях.

Но оказалось, что кроме высоких слов о долге русского гражданина – есть еще такая неприятная, но весьма реальная вещь, как ЧК.

Всю жизнь потом Валерия до самой его смерти вызывали в ЧК, время от времени задавая один и тот же вопрос:

– Почему вы, царский офицер, уже служивший в Красной Армии, демобилизовались в такой важный, в такой ответственный момент, час, как 1918 год? Почему вы оставили Красную Армию?

Валерия сделали осведомителем, унижали, топтали, и подняться он уже не мог.

Валерий – сын, который публично отказался от отца-священника: в дальнейшем понадобились и такие демонстрации.

Я бывал у него во время моей учебы в университете; он работал в секретариате Наркомзема на какой-то канцелярской должности и ретиво принимал участие в выпусках Наркомземовской стенгазеты – прошлое и душа художника, которые он еще не забыл при выпиливании рамок по чужой канве, умение растворять краски, хотя бы клеевые. Валерий был главным оформителем праздничной стенгазеты Наркомзема и очень гордился пользой, которую он как художник не перестает приносить.

Я встретился с ним на похоронах отца неожиданно, потому что он никогда не помогал отцу и матери – ничего, кроме проклятий по их адресу, не слышал я из его уст, – и вдруг лямка отцовского гроба.

Уезжали мы не вместе – он попозже, я пораньше. И когда пошли прогуляться, выяснилось, что он чего-то ждет.

– Да, Валерий, вот возьми отцовскую цепочку и игрушку – моржового слоненка. Я их приготовила в столе.

Наташа, которая в нашей семье олицетворяет справедливость и которая лучше всех знала материальные возможности матери и отца, бросилась на Валерия тут же.

– Да как ты смеешь просить такой подарок? Ведь мама на эту цепочку проживет не один год.

Но мама ясно и твердо сказала:

– Он ничего не просил и не просит, это я так хочу.

Валерий умер в тот самый день и час 12 ноября 1953 года, когда иркутский поезд дальнего следования подошел к московскому перрону и я вылез после шестнадцатилетнего отсутствия.

Х

Сестра Наташа была старше меня на семь лет. Значит, в 1917 году ей было 17, а в 1918 – восемнадцать.

Эти два рубежа – возрастной и исторический – тесным образом переплелись в жизни моей сестры.

Семнадцатый год Наташа встретила в белом платье с сияющим лицом. Представители городской думы поздравляли Наташу с окончанием женской гимназии.

– Он сказал нам – товарищи! – без конца повторяла Наташа, кружась по комнате, целуя отца и мать, тиская меня.

Все горизонты мира распахивались перед Наташей, и она настроена была использовать все возможности – образования, путешествий, свободы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.